

В ОСАЖДЕННОМ ГОРОДЕ

(ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК 1941-1944 ГГ.)

Алексей Иванович Еремеев — таким было настоящее имя писателя, вошедшего в историю литературы под полублатным прозвищем.

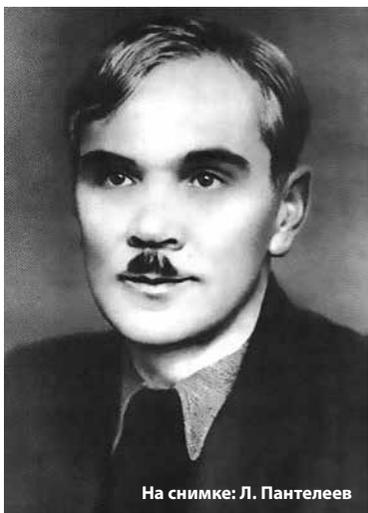
8 июля 1942 года полуживого Пантелеева, находящегося в крайней степени истощения, вывезет из Ленинграда в Москву Александр Фадеев — спасёт своего коллегу от верной смерти. Но Алексей Иванович будет стремиться домой — и в самом начале 1944 года, ещё до снятия блокады, вернётся в город на Неве.

Первый год Великой Отечественной войны Алексей Иванович Пантелеев находился в Ленинграде. Во время блокады в городе оставалось много писателей. Но в общей работе товарищей по перу Пантелеев принимать участия не мог. В этом смысле жизнь его была труднее, чем у других ленинградских писателей.

1941 год у него сложился так: перед самой войной он перенес операцию и в конце мая выписался из больницы. Дважды стоял он перед медицинской комиссией, и дважды комиссия не допускала его в армию. Он активно включился в работу группы самозащиты, а когда в конце декабря он оказался «последним молодым мужчиной в доме», оправдом назначил его начальником домовой группы МПВО. В самом начале сентября 1941 года, когда вот-вот должно было сомкнуться кольцо блокады, он был вызван повесткой в управление милиции. В результате какой-то ошибки Пантелеев подлежал высылке из Ленинграда. Алексей Иванович не уехал. В тот же день он написал письма — в Совет фронта и своим московским друзьям и старшим братьям по перу Маршаку и Фадееву. К концу марта 42-го в последней стадии дистрофии он был подобран «скорой помощью» и доставлен в больницу на Каменном острове.

6 июля 1942 года А. А. Фадеев вывез тяжело больного Пантелеева на самолете в Москву. Несколько месяцев Алексей Иванович провел в санатории и в госпитале. Несмотря на слабое еще состояние здоровья, в это время он уже работал в полную силу. В апреле 1943 года Пантелеев подал заявление в ГлавПУРККА с просьбой призвать его в армию. Он был направлен в Военно-инженерное училище в Большеве, затем служил в инженерных войсках, был редактором ежедневной батальонной газеты «Из траншей по врагу». В январе 1944 года по командировке ЦК ВЛКСМ Пантелеев едет в Ленинград: это было время решающих боев, окончательного разгрома немецкой группировки.

И вот снова Ленинград, город, где все «до спазмов в горле, до слез, до



На снимке: Л. Пантелеев

сердцебиения знакомо». Целых — и каких! — полтора года прошло со времени отъезда. «Хожу, хожу — и не могу насытиться, наглядеться, налюбоваться и — нагореваться». И казалось еще, целая жизнь прошла со дня приезда и до того дня, когда прозвучал салют в честь освобождения города от блокады.

Давно уже были опубликованы и неоднократно переиздавались очерки Пантелеева «В осажденном городе» и «Январь 1944». В его книге «Приоткрытая дверь» (1980) большое место занимает раздел «Из старых записных книжек (1924–1947)». Страницы этого дневника открывают много нового о войне и о жизни писателя в эти годы.

Взял вчера в соседней палате «ничью» книжку. Ни обложки, ни первых 8 страниц нет — ушли на курево или на другие надобности. Что-то приключенческое, шпионское. Прочел 10 или 12 страниц и на этих двенадцати страницах насчитал — 67 штампов! Образцы выписываю:

«Недобрая усмешка пробежала по его губам».

«Ночь прошла в томительном ожидании».

«Сверхчеловеческим усилием воли он заставил себя поднять руку».

«Недоброе предчувствие ледяным холодом сжало его сердце».

«Ногти помимо воли впились в ладони, мышцы сжались стальными пружинами».

«Чудовищный удар в лицо бросил его в угол».

«И вдруг, пораженный внезапной мыслью, он хлопнул себя по лбу».

«Все дальнейшее происходило словно во сне».

«Это было словно гром среди ясного неба».

«Усталые глаза потеплели, сочувственно дрогнули кончики губ».

«Но тут же другая мысль, еще более страшная, заставила его содрогнуться».

«Эти два часа, грозившие ему неминуемой гибелью, показались вечностью».

«Подстегиваемый нетерпением, он отправился на поиски... И так далее и тому подобное».

Все это из одной книги! Из 1/20 части ее! А сколько их во всем этом макулатурном произведении! И сколько их вообще существует в отечественной и в мировой литературе!

Занимался ли кто-нибудь из литературоведов этим вопросом? Ведь, вероятно, можно составить большой фразеологический словарь литературных штампов и пошлостей. Существует целый цех макулатурных дел мастеров, которые пользуются только этими готовыми словесными клише. И есть читатели (даже интеллигентные), которые любят эти «нечеловеческие усилия воли» и «ледяной холод, сжимающий сердце».

В самые страшные дни, зимой, я читал — впервые — «Большие надежды» Диккенса. Книга только что вышла в новом переводе, я купил ее на улице, с лотка.

Читал ночами, при свете копящего ночника. И знаю, что навсегда соединились этот ночник, копоть, пар изо рта со всем тем, о чем читал — с духом, и мраком, и светом, и запахами диккенсовского романа.

Хочешь не хочешь, хочу не хочу, а ты со мной на всю жизнь, Пип! Ты — блокадник.

Перечитываю (после Диккенса) Достоевского. Читал «Дневник писателя». И в самом деле — сколько точного, сколько угаданого, сколько прозрений!

Как верно, с какой настоящей, не приторной любовью говорит он о русском народе.

Запахи!.. Копоть ночника, дым времянки, медицинский спирт, эфир...

В начале апреля, в морозный день вошел в палату, только что проветренную, и вдруг вспомнил...

Как хорошо было войти зимой в мамину спальню после того, как ее основательно проветрили. Форточка уже закрыта, в спальне тепло, но воздух свежий, и не полетному, а морозный, и в нем так тонко, чуть слышно слились — не запахи, а отзвуки запахов — маминых духов, папиных папирос «Яка», лампадного масла, легкого печного угара... И все это заглушается запахом мороза. Да, тот, кто был ребенком, согласится со мной: мороз пахнет.

У Честертона — панегирик туману. «В тумане получает материальное воплощение та внешняя сила, которая придает уюту чистое и здоровое очарование».

И ниже: «Я не без основания подчеркиваю высокую добродетельную роль тумана, ибо, как это ни странно, но атмосфера, в которой развертываются романы Диккенса, часто важнее их интриги».

До чего же это здорово, как верно!.. Не прошло года с тех пор, как я читал «Большие надежды», а я уже не мог бы, вероятно, пересказать содержание этого романа. Атмос-

фера же его живет со мной и во мне, и, думаю, будет жить всегда.

«Можно замолить даже такой проступок, как убийство, но никогда не простить себе опрокинутой миски с супом».

Почему я выписал эти слова из книги Честертона о Диккенсе? Потому что они обо мне! Это — та мисочка с супом, которую принесла мама в феврале из Дома писателя. И именно эту опрокинутую мисочку, я, вероятно, никогда не смогу простить себе.

Святое отношение к хлебу осталось с Алексеем Ивановичем до конца жизни. Уже спустя много лет после войны он случайно увидел в заграничной поездке, как дети-подружки играют в футбол булкой хлеба — и накинулся на этих футболистов с кулаками. Не смог им простить такого

«Недавно слышал на улице: — Нас легче похоронить, чем накормить».

Нет, и похоронить нелегко. Пантелеев, переживая блокаду, беспощадно фиксировал в своих дневниковых записках и смешное, и подлое, и жуткое.

«Дежурил в первый раз на крыше и увидел город с высоты пятого (вернее, шестого, даже седьмого) этажа. Увидел, как бы заново, как бы впервые всю красоту и неповторимость его. Город с его знакомыми до слез, «до припухших железок» зданиями, с Невой, Фонтанкой, каналами, — и все это как на старинной гравюре, на рельефном плане с картушем в верхнем углу. Не мог оторвать глаз от этого видения.

И вдруг подумал: «Смотри! Запомни! Впитывай! Такого уже не будет!»



варварства... И в общих столовых мучился, когда видел, как оставляют на тарелках недоеденное...

Вспомнил, как в Ленинграде, в декабре еще кажется, принесла мне мама пайку хлеба или утреннюю часть ее. Я лежал больной, читал. Неловко разломил хлеб и крошка упала на пол. Я не поднял ее, но читая, все время помнил, что предстоит что-то приятное. Что же? Ах, да, могу нагнуться и поднять с пола эту крошку — грамм или полтора черного хлеба!..

Эти записки, такие повседневные и незатейливые — про мужество ленинградцев, про их бесконечную верность своему городу, про тот горький юмор, которым спасались блокадники.

Он писал не только о бесстрашных героях и тихих мучениках блокады, но и о жуликах, прохиндеях, откровенных мерзавцах, которых, к сожалению, тоже хватало. Писал о психических заболеваниях, возникавших тут и там на почве голода.

«Чтобы всё рассказать, надо написать книгу. Напишу ли когда-нибудь? И напишут ли когда-нибудь о Ленинграде всю правду? Мне кажется, что теперь, после всего, не всю правду нельзя. Не потому ли так легко, как никогда легко и свободно, пишется и думается?»

Полосу подготовила Надежда КАШИРЦЕВА, заведующий библиотекой «Музей блокадного города»

